

КАК ДРЕВНИЙ ЭПОС

О письмах и взаимоотношениях людей исчезнувшей навсегда страны

ПЕРЕПИСКУ Пастернака с его двоюродной сестрой Ольгой Фрейденберг — выдающимся исследователем-новатором античной литературы, впервые изданную на Западе, я прочла в начале 80-х в библиотеке Женевского университета. Трепет от соприкосновения с запретным, полагаю, многим еще памятный, действовал как наркотик, затуманивающий восприятие. Кроме того, оживаясь той правдой, что от нас утаивалась, где-то на задворках сознания срабатывал ну что ли защитный рефлекс: казалось, что пережитое ими, с нами уже не может случиться...

Такие книги рассчитаны на многоголосное, хоровое звучание, и каждая новая публикация есть продолжение, развитие того, что нам стало известно раньше. Эти книги обязательно надо перечитывать, убеждаясь, что мысли, свидетельства людей выдающихся со временем обретают не только все большую ценность, но и значение пророчеств. Это чудо, когда появляются такие книги... И вот еще одна — «Мир светел любовью», составленная из дневников и писем Николая Николаевича Пунина.

Для многих и Пунин, и Фрейденберг прежде всего притягательны спаянностью их судеб с судьбами в одном случае Ахматовой, в другом — Пастернака. Возможно, они так и останутся в тени гениальных поэтов. Хотя оба в своей профессии достигли редких высот. Совпали и в том, что наследие их только сейчас изымается из забвения.

Что ж, пусть только спутники фигур легендарных, но, что один, что другая, прошли каждый свой крестный путь. Под нож было, собственно, пущено целое поколение — все те, кто родился, сложился как личность до революции. А что еще страшнее — извели человеческую породу, которая никогда больше не будет уже восстановлена.

Их письма, их вкусы, их отношения из нашего времени воспринимаются как древний эпос. И, если опять объективно к себе отнестись, придется признать, что мы от них отличаемся, как гунны от римлян. Даже если кому-то из нас довелось по случайности с ними встретиться, дотануться до получалось, что в молодости не со знавалось так явственно, как теперь.

Не сознавалось и, пожалуй, до конца не создается, что отечественная культура, которой мы привыкли перед миром и друг перед другом гордиться, закончилась. Не должно оставаться иллюзий, будто что-то удалось унаследовать. Рухнула цивилизация, и те одичалые толпы, что разбрелись среди развалин, ничего общего не имеют с жителями исчезнувшей навсегда страны.

Преемственность, о которой нам постоянно твердили, в действительности не осуществилась. Ни Пастернак, ни Ахматова, ни их собеседники-корреспонденты нашими современниками не являлись — вот что открывается после прочтения таких книг.

Стихам великих поэтов суждено бессмертие. А вот атмосфера, которой они дышали, не подлежит воссозданию. Запах гелиотропа и лилий, как Ольга Фрейденберг замечает, «навсегда безвозвратный», тут важен не меньше, чем беседы девочек и мальчиков той эпохи о законах метрики и стихосложения. Ни тени натужного умничанья: то были интересы среды, уклада смятенных революцией.

В чем-то, возможно, наивные, люди тогда поразительно рано выросли, мужали духовно. Ольга — сверстница юноши Пастернака, не уступает ему в пронаительности, умудренности. И больше того, способной оказывается даже раньше него самого понять, в чем именно его призвание. Хотя и позднее, когда слава поэта обрела уже мировое звучание, равенство в их отношениях сохранялось.

Общность судьбы — вот что их связывало и что они различить сумели с провидческой зоркостью. Когда читаешь теперь, как, о чем они друг другу писали, робость



Независимая Ахматова и Пунин во дворе Фонтанного дома. 1927 г.
снимая газ. — 2006 — 25 окт. — с. 12

испытываешь, убеждаясь, что ведь действительно жизнь человека сама по себе может быть, может стать творением, и з д е л и е м (нельзя удержаться, чтобы еще раз не процитировать из Пастернака: «Ты держишь меня как изделие и прячешь как перстень в футляр») в том случае, когда люди воспитаны в подобной, по понятиям нынешним невероятной, требовательности к себе.

Фрейденберг определила свой нравственный камертон словами Ницше — «пафосом дистанции», объясняя брату, почему она с точки зрения житейской себе вредит, но «форсировать научное доброе отношение к себе и менять его на звонкую монету» не желает. Хотя это в «глазах толпы» есть самомнение и гордость». В том же послании — как манифест: «...маршрут трамвая не совпадает с моим путем; я убеждаюсь, что идти пешком мне будет легче...»

С ее стальным характером чарующая, благородная уступчивость поэта вроде бы контрастирует, но это мнимость. «Доктор Живаго» в нем шевельнулся еще в 20-е годы. Тогда он уже сознает, что его «упертость в прошлое» хорошего не сулит, коли объявлено, что «идеализм ересь, а индивидуализм запрещен». В письме же от 1 июня 1930 г. сказано: «...я не участвовал в создании настоящего и живой любви у меня к нему нет». Одной этой фразы достаточно, чтобы миф о добровольном сотрудничестве российской интеллигенции с советской властью был бы порушен.

Хотя предстояло еще много чего. Пока лишь «уплотняли», сужали жизненное пространство, начав с осковернения семейных гнезд и превращая их в коммуналки. Сработано было массивно, надолго: большинство моих сверстников в коммуналках и выросло, иного быта не зная. Но те, у

кого о т н и м а л и, к такому по нормальному счету бедствию, судя по их личным свидетельствам, относились с фантастической выдержкой: не ропща, разве что брезгуя. Фрейденберг отмечает, что «Борю третировали коммунальные жильцы с их пятнадцатую примусами и вечно осаждаемой уборной». Но это так, между прочим.

Отсюда вывод, что никаких надежд относительно «светлого» будущего их поколение не питало. Это только для черни, для дикарей гром случается среди ясного неба. А Кассандра недаром царская дочь. Гул рока внятен утонченному, изощренному слуху. Они з н а л и, что их ждет. В сравнении с этим что-то там материальное ерундой воспринималось. Концентрировались на другом: их чувства, их отношения в каждой подробности по сей час ошеломляют. Декорации тут не требовались, как в античных трагедиях.

Когда в 1949 году за Пуниным приходят с ордером на арест, уводя в лагерь, в смерть, в квартире Шереметевского дома из близких одна Ахматова. К тому моменту в обоих любовь мужчины и женщины изжита в сущности, по крайней мере они так считают, и, видимо, искренне. Но как закольцован сюжет! В последнем прощании судьба их вновь вдвоем сводит. Неужели и вправду катарсис изобретен не людьми, сведущими в искусстве, а свыше кем-то? Но только, верно, избранныкам внятен смысл их предназначения, которому они следуют от начала и до конца.

Пунину принадлежит фраза-афоризм, в многократном повторении, как это бывает, утерявшая авторство: не теряйте отчаяния. В книге «Мир светел любовью» дается развернутое его подтверждение: «Я не хочу быть трагедией и никого не зову к героической смерти. Смерть Пушкина, Лер-

монтова, Маяковского — это крайние выходы и не вполне удачные. Видимо, они не могли жить с отчаянием в сердце; как будто можно жить с пулей в сердце. Наше время научило нас жить с отчаянием — и это вершина вершин. Не теряйте отчаяния, уже давно говорю я, для того, кто потеряет отчаяние, только один путь: пропасть. Нести в себе отчаяние — это значит не только беречь себя, но и чувствовать ответственность за всех и за все. На вершине отчаяния живут наиболее чистые чувства: любовь...»

Та эпоха оставила апокрифы, где фигура «треугольника», в который складывались их союзы, образует устойчивый и даже как бы навязчивый орнамент. Блок, Белый, Любовь Дмитриевна; чета Бриков и Маяковский; Пастернак, Зинаида Николаевна, Ивинская; Ахматова, Пунин, Анна-Галля Арене. Упадок нравов, богомность? Но богомность, напротив, к разлукам относится легко. А тут — вот именно «пожизненная привязанность», как назван составителями сборник писем Пастернака и Фрейденберг.

Они не хотели и не умели расставаться. Возможно, одна из причин была в том, что их круг чем дальше, тем очевидней редел, и инстинктивно, наверно, возникала сцепка — с в о и х с р е д и ч у ж и х.

В обстоятельствах, в которых они оказались, за все приходилось платить. Опьяненность влюбленностью с роковой неизбежностью обращалась в клубок неодолимых, нерасторжимых противоречий, изматывающих до изнеможения, всем причиняя боль. Но ошибется тот, кто эти метания отнесет за счет нерешительности, малодушия. Скорее так, оказавшись в кольце врагов, уносят раненых с поля боя.

Иначе, скажите на милость, как Пунин мог выбирать между Ахматовой, с ее царственностью, прелестью женственной, возведенной в квадрат гипнотическим излучением личности, — и скромной Арене, у которой даже в пору, когда все хорошенькие — потому что молоденькие, на фотографиях, в ракурсах, лстящих модели, какой-то пришибленный вид. А вот ведь держала и удержала до смерти мужа, Николая Николаевича, как все люди искусства, склонного к обольщениям и, по той же причине, обольщающего других. Есть она, эта магия дара. Пронзает даже из небытия. Теперь, его дневники, письма читая, найдутся ли те, кто влюбленность к нему не почувствовал? Я так скажу прямо: сражена.

Пастернак, с его знаменитой «тягой прочь», уживающейся в полной, только гениям доступной гармонии с «бюргерской» — а у, Томас Манн — консервативностью, настолько всегда и во всем превосходит любые рамки, что в примеры не годится. Это уже заоблачное: и предан, со всею искренностью, всем сердцем, и всегда ускользает. Так что оставим. Но вот жена его, Зинаида Николаевна, чей образ стараниями современников приземлен, всажен в грядки, где она, видите ли, не цветочки, а картошку выращивала, вот что пишет бывшему мужу, Генриху Густавовичу Нейгаузу (это цитата уже из книги воспоминаний Зинаиды Пастернак и писем к ней Бориса Пастернака), с Урала в 1932 году: «От твоего письма стало грустно, во-первых, потому что тебе плохо, а во-вторых, потому что оно расходится с действительностью. Никто от тебя дальше не отошел. Мне жизнь твоя так же дорога и близка, и часто ловлю себя на мысли о тебе и беспокойстве о тебе, как и раньше, когда мы жили вместе. Как по человеку скучаю по тебе очень. Ужасное желание тебе помогать, как и раньше. Ведь в моем чувстве к тебе было главное — это душевная и почти материнская забота,

хотя ты меня и называл постоянно ребенком».

Да, та самая Зина, приписку которой в его послании к Фрейденберг Борис Леонидович комментирует: «Вот видите, и Зина грамоте обучилась». Шутит? Или крылит над своим сокровенным? Не важно. Другое значительнее: в то время и «скромные», и выдающиеся, знаменитые заботились, как они выглядят и в глазах окружающих, и в собственных глазах. Благодаря их «отчетам» в письмах к близким, друзьям мы становимся соучастниками драм, где мужья бывшие чуть ли не на коленях упираются, навязывают бывшим женам материальную помощь и ликуют, когда она принята. Жены, возлюбленные — в отместку?! — разят бескорыстием. Это состязание в благородстве их окружением воспринимается без тени недоумения: выходит, таковы были правила, понятия о приличиях той среды.

Может быть, круговая порука порядочности и давала им силы сопротивляться теснящей со всех сторон мерзости и, пусть в малочисленности, все-таки уцелеть. Именно их присутствие несколько задержало деградацию — общую деградацию. Сейчас мы видим, что происходит, когда их нет.

В материалах следствия по делу Пунина есть протокол его допроса от 14 сентября 1949 года, и вот в чем арестованный «признается»: «В своих публичных выступлениях и в печати я заявлял, что становится все очевиднее, что в наших советских условиях почти нет людей, для которых искусство могло бы жить, что русскому искусству и русским художникам нечем и не для кого жить». И дальше: «В самой культуре, по моим утверждениям, происходит что-то такое, от чего творчество даже признанных, всеми уважаемых художников безжизненно и сдавлено».

В существовании искусства изначально заложен парадокс. С одной стороны, оно как бы не только не предмет первой необходимости, а своего рода роскошь, без которой большинство и обходилось, и обходится. Не секрет, что такая тенденция к «скромности» растет. Занятие творчеством граничит уже с изгойством. Правда, процесс этот начал давно и развивался, можно сказать, параллельно истории человечества. Но там, в ее недрах, события и случались, когда именно преданность искусству давала людям шанс, способ, средство к выживанию.

В блокаду Ленинграда, с цингой, обезножив, «под разрывы артиллерийских снарядов и свист бомб», Ольга Фрейденберг работает над «Гомеровскими сравнениями». Помимо мужества тут открывается еще и благодать, отмечающая праведников. Сама Фрейденберг отчетливо сознает, откуда силы черпаются. В письме брату Борису из Ленинграда в 1942 году: «... мне была страшна не соматическая гибель: казалось, душа изомнется. Так нет! Одна страница настоящего искусства, две-три строчки большой научной мысли — и жив курилка. Поднимается опять страсть, и пеплом пылится отвратительная псевдореальность, и мираж как раз она, и она будет ли жить и кровообращаться, вот вопрос».

У Николая Николаевича Пунина опыт прожитого их поколением подытоживается в предельной, отжатой емкости: «Передайте себя и свое в будущем — в этом цель и смысл искусства. Любовь к искусству должна быть честолюбива и даже тщеславна, иначе она не была бы любовью к прекрасному. Человек искусства хочет видеть себя в будущем красивым; он хочет нравиться будущему так же, как нравиться женщине, и он делается таким, каким он, как ему кажется, может понравиться лучше всего».

От этой их, несмотря ни на что, безграничной веры, что будущее не просто существует реально, но предстанет именно в тех очертаниях, что они вымечтали, за что приняли муки, теперь меня, например, пробирает дрожь. Неужели все было напрасно? Я была бы очень признательна тем, кто захотел бы, сумел бы меня тут ободрить и убедить.

Денвер, США

25.10.01

Пастернак Борис